



ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ

Крутой маршрут

Хроника времен культа личности

Часть III

ФТМ

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)
Г49



Гинзбург Е.

Г49 Крутой маршрут : Хроника времен культа личности. Часть III : [роман] / Евгения Гинзбург. — М.: «Т8 Издательские Технологии» / «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020. — (Серия «Мировая классика»).

ISBN 978-5-4467-3517-4

Часть III. — 369 с.

ISBN 978-5-521-74476-3

Автобиографический роман советской журналистки Евгении Гинзбург (1904–1977), над которым она работала с 1967 года и до своей смерти. Это одно из первых литературных произведений, рассказывающих о сталинских репрессиях.

В третьей части романа автор описывает свое освобождение из лагеря, «пожизненное поселение» в Магадане и реабилитацию в 1955 году.

**УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)**

**ISBN 978-5-4467-3517-4
ISBN 978-5-521-74476-3**

© Гинзбург Е. С., наследники, 2020
© Оформление.
ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020

Часть III

Глава первая Хвост жар-птицы

В сорок седьмом году освобождения из лагеря вовсе не были массовыми, как, казалось бы, должно быть. Ведь это было десятилетие тридцать седьмого года, и у тысяч людей кончался календарный срок заключения, назначенный Военной коллегией, Трибуналом, Особым совещанием и многими другими судами. И тем не менее...

Правда, щелочка, через которую можно было протолкнуться за ворота лагерной зоны, немного расширилась, но все же количество освобождаемых составляло лишь ничтожный процент тех, кто с трепетом ждал своего «звонка», все еще уповая на незыблемость Закона.

Высшие соображения, которыми руководствовалось начальство, были абсолютно непостижимы даже для наиболее «подкованных» теоретически заключенных-марксистов, сохранивших, так сказать, навыки диалектического мышления. Почему одни попадали в списки на освобождение, а другим — большинству — предлагалось расписаться «до особого распоряжения» оставаться в лагере теперь уже лишенными даже такого иллюзорного утешения, как подсчитывание месяцев и недель, оставшихся до конца законного, назначенного судом срока? Это оставалось загадкой, недоступной простому человеческому рассудку.

Казалось бы, в этой атмосфере произвола, чинимого над

нами, у остающихся в лагере могло возникать недружелюбное чувство к освобождающимся. А между тем я с полной ответственностью свидетельствую: освобождавшимся *никто не завидовал!* Я не хочу никакой идеализации. Смешно было бы, если бы я стала уверять, что заключенные были человечнее вольных. Сколько раз я наблюдала, как искажались злобой лица тех, кто не прощал своим товарищам по несчастью лишних десяти граммов хлеба или менее изнурительных условий труда. Я видела самую черную зависть к каким-нибудь чуням первого срока или к месту на нижних нарах... И все эти чувства отражались на лицах. Ведь лица здесь были голые, не защищенные условными масками.

А вот освобождавшимся не завидовали! Все темное, крошечное исчезало как по волшебству, когда дело заходило о ВОЛЕ, пусть даже о куцей, худосочной колымской «вольнонаемности» (ведь и на тех, кто выходил из лагеря, распространялись высшие соображения: одним разрешался выезд на материк, другие оставлялись в тайге).

Да, именно здесь, в заключении, я встретила с этим талантом СОРАДОСТИ, гораздо более редким и трудным, чем талант СОСТРАДАНИЯ. Парадокс? А может, не такой уж парадокс? Я всегда, еще с детства, обращала, например, внимание на то, какими прекрасными становятся лица людей, когда они наблюдают за каким-нибудь лесным зверьком, затесавшимся случайно в город. Ну, скажем, еж или белка... Как преображаются лица! Как сквозь раздраженную городскую угрюмость проступает какая-то детская чистота! Удивительный появляется отсвет на лицах. Он просвечивает через маску зла.

Вот такими становились и лица заключенных, когда кто-нибудь освобождался, складывал вещи в последний раз.

Не в этап, а за зону! Это было выражение бескорыстной радости. Наверно, людям свойственно просветляться, когда они соприкасаются с естественным достоянием человека. Увидели белку или ежа, чудом затесавшихся в пыльный городской сад, — прикоснулись к природе. Увидели человека, выходящего из-за колючей проволоки, — прикоснулись к свободе. И перед ее появлением стихали все низменные страсти. Человеку, который в данный момент воплощал СВОБОДУ, нельзя было завидовать. Его надо было благоговейно проводить до ворот, чтобы он не расплескал вновь обретенного великого дара.

Студенным утром 15 февраля 1947 года этим драгоценным сосудом — вместилищем СВОБОДЫ — была я.

Не успела я показаться на пороге эльгенской вольной больницы, где проработала свои два последних эковских месяца, как меня обступили все заключенные, обслуживающие эту больницу. И я увидела на их лицах то самое выражение. Они любили меня сейчас за одно только то, что я воплощала для них сегодня мысль: все-таки МОЖНО выйти!

Все хотели оказать мне какую-нибудь услугу. Тетя Марфуша, шестидесятилетняя санитарка, сектантка, адвентистка седьмого дня, вытаскивала из-под полы халата мисочку с овсяной кашей. Она совала мне ее в руки и требовала, чтобы я ела кашу тут же, на ее глазах. С интонациями сказительницы она причитала при этом, что вот, мол, и дожила я до великого преображения, до двенадцатого дня, до какого дай Боже и всем дожить.

Лаборантка Матильда Журнакова критически осматривала мою телогрейку, пожимала плечами, находя такой вид абсолютно невозможным для вольной жизни, и вела разговор к тому, чтобы я без всяких предрассудков взяла у нее

платье и чулки. О пальто подумаем после... Гардероб Матильды славился по всему Эльгену, потому что у Матильды каким-то чудом сохранился на воле муж и она постоянно получала из дома посылки. С той же одержимостью, с какой Марфуша вещала о двенадцатом дне, Матильда твердила теперь о возвращении к научной работе. Это был ее пунктик. Все годы заключения она мучилась по своей диссертации, которая к моменту ареста была совсем готова и даже день защиты был назначен.

Истопник Гариф, сидящий по статье 59-3 — бандитизм, стал настойчиво требовать, чтобы я, как получу паспорт, сразу ехала в Азербайджан к его кунакам. А уж они, узнав, что я делила горе с их братом, почтенным Гарифуллой-оглы Гусейном, будут кормить и холить меня до конца моей жизни.

Все были настолько наэлектризованы, что даже фельдшер Коля, тяжелый заика, без малейшей запинки выкрикнул несколько фраз подряд.

— Быстро! К телефону! Таскан на проводе! Третий раз уже звонит... С ума сходит... Икру мечет...

Трубка вибрировала, трепетала, захлебывалась тревогой, не решалась выговорить роковой вопрос. Только твердила с вопросительной интонацией:

— Это ты? Это ты?

— Да, да, да! Да, освободилась! Да, расписалась, что мне объявлено об освобождении...

От волнения трубка вдруг переходит на немецкий. А я — тоже от волнения — вдруг утрачиваю способность связать в смысловое целое все эти ум, аб, нах, геворден верден...

— Говори по-русски! Сегодня я забыла все слова, кроме русских. Скажи, когда ты выезжаешь за мной?

У нас уже давно было сговорено: сразу после освобождения

ния и выхода за зону лагеря я иду в вольную больницу, жду здесь звонка из Таскана, подтверждаю свое освобождение (до последней минуты мы в нем сомневались, ведь бывали и такие случаи, что отменяли в последний момент), и тогда Антон выезжает за мной. Лошадь и санки обещал расстаться начальник тасканского лагеря Тимошкин.

Антон переходит на русский, но я все равно почему-то не понимаю, что он хочет сказать. Что-то все о погоде...

— Десять баллов... При температуре... Прогноз на ближайшие три дня... Придется...

— Ничего не понимаю! Метеосводка какая-то... Очень плохо слышно! Говори скорей, когда выезжаешь! Громче!

Трубка воеет и ухает, трещит и булькает. Наконец затихает совсем.

Битых полчаса мучаюсь с деревянным допотопным аппаратом. Кручу ручку, отчаянно взываю к станции... Но вот в дежурку входит главный врач вольной больницы Перцуленко. Он из тех вольняшек, что всегда пристально присматривались к жизни заключенных. Из тех, кто не побоялся вступить в отношения личной дружбы с заключенным немецким доктором. Он жмет мне руку, поздравляет, сулит какие-то немыслимые успехи в новой жизни. А главное, он предлагает мне гостеприимство на три дня.

— С погодой вам не повезло. Доктор Вальтер только что прорвался по моему домашнему телефону. Просит передать вам: начинается буря, южак идет. Прогноз на ближайшие три дня ужасен. Лошади не проехать. Пешком опасно. Мы с женой предлагаем вам пожить эти три дня у нас. Так и с доктором Вальтером договорились. А как только стихнет непогода, он за вами приедет...

Слова главврача, эти любезные слова, не имеющие никакого отношения к моему душевному состоянию, доходят

до меня как сквозь толщу воды. Из всего сказанного я усвоила только одно: Антон советует мне пробыть в Эльгене еще три дня. ДОБРОВОЛЬНО остаться еще на три дня в Эльгене!

Нестерпимость оскорбления жгла меня. Господи, как я несчастна! Второй час, всего только второй час длится моя новая, моя вольная жизнь — и уже такой удар. И кто его наносит! Самый близкий человек! Да как у него язык повернулся сказать такое! Чтобы я по своей воле осталась в Эльгене! На три дня! На три часа! На три минуты!

Перцуленко делает еще раз попытку воззвать к моему здравому смыслу. Всего три дня. Чего они стоят сравнительно с десятью годами! И ведь не в лагере ждать, а в вольной квартире... Ведь это смешно: пережить все, чтобы потом замерзнуть на трассе. Колымские бураны — не шутка. Уж я-то должна это знать.

Я, конечно, знала. Мне ли не знать... Сколько историй о гибели целых этапов и отдельных людей наслышалась я за свой срок! Но ведь всего-то двадцать два километра. Что мне, таежному волку, эти несчастные двадцать два, да еще по прямой трассе, не сворачивая в сторону! А потом — неизвестно, когда именно разыграется этот буран... Ошибки в прогнозах могут измеряться сутками. Знаем мы точность наших метеорологов!

Накинув телогрейку, я выбежала на больничный дворик. Ну так и есть — все выдумки. День как день. Вот и градусник. Всего-то тридцать пять. Отличный просто день. Даже солнце пробивается.

Решение созревает сразу. Только надо уйти так, чтобы никто не заметил. Истопник Гарифулла колет дрова у крыльца. Он ничего не знает ни о предсказании бюро погоды, ни о моем разговоре с Перцуленко.